

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 44

1989



Владислав
ХОДАСЕВИЧ

**ВОСПОМИНАНИЯ
О ГОРЬКОМ**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 44

Издается с января 1925 года.

Владислав ХОДАСЕВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

У ИСТОКОВ ТРАГЕДИИ

Судьба Максима Горького — одна из самых трагических судеб в истории советской литературы. Говоря это, я ничуть не забываю, что он жил в довольстве, богатстве и почете именно в те годы, когда физически уничтожались и духовно растаптывались сотни (а пару лет спустя — и тысячи) литераторов. Но ведь для писателя главное — не личное благополучие, а умение сохранить верность тем высшим идеалам, которые пронизывают настоящее искусство всегда.

При всей противоречивости горьковской деятельности в последние годы жизни, после окончательного возвращения в Советский Союз, доминантой ее все же был дух антигуманистический, полностью противоположный тому, к чему стремилась русская классическая литература. Соловецкая идиллия, воспевание рабского труда на Беломорканале, знаменитый лозунг «Если враг не сдается — его уничтожают!» — все это наложило на наше теперешнее отношение к Горькому неизгладимую печать. И ко всему этому добавляется беспрецедентное мифотворчество, когда из Горького делалась (и продолжает делаться!) благодетельная фигура иногда слегка заблуждавшегося, но легко направлявшегося Лениным или Сталиным на путь истинный великого пролетарского писателя, беспрекословно подчинявшего свое творчество очередным задачам советской власти. Честно скажем, что такого писателя искренне любить трудно.

Долгое время напряженными усилиями горьковедов в штатском нас охраняли и от текстов писателя. Лишь в прошлом году были, наконец, перепечатаны «Несвоевременные мысли», бывшие несвоевременными семьдесят лет; до сих пор с трудом подступаются исследователи к горьковской эмиграции и к тем мыслям, которые он тогда позволял себе высказывать, задевая при этом репутации не только литературных, но и политических деятелей, кажушиеся нам до сих пор незбылемыми. Кажется, так никто и не решился пока сказать, что та редакция очерка «В. И. Ленин», которую школьники изучают на уроках литературы, имеет мало общего с первой редакцией и возникла в результате творческого усвоения Горьким весьма резкой рецензии Троцкого на первый вариант.

Так, может быть, вообще стоит забыть этого писателя и изучать не его творчество, а лишь миф о нем?

Смею думать, что такой подход был бы неверен в принципе. Горькому был дан большой писательский талант, зачастую не укладывавшийся в традиционные мерки, привычные для критиков и читателей. Сколько благоглупостей было сказано и прижизненной критикой, и позднейшим литературоведением о его творчестве! И очень редко исследовате-

ли и мемуаристы пытались восстановить истинный облик писателя, последовательного и противоречивого, отважного и испуганного, счастливого и глубоко трагического.

И среди лучшего в этом корпусе воспоминаний — мемуарные очерки Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939), одного из крупнейших русских поэтов двадцатого века, которому довелось близко наблюдать Горького в те годы, которые во многом определили его дальнейшую трагическую судьбу, привели к черным тридцатым годам.

В творчестве Ходасевича органически сливались большой художник и блестящий аналитик, тонкий истолкователь биографии и искусства Державина, Пушкина, Андрея Белого, Брюсова... Попав в его поле зрения, Горький также предстал как целостный художественный феномен, в котором соединились человек и писатель, чрезвычайно симпатичный пишущему и очень его раздражающий, талантливый и в чем-то удивительно творчески беспомощный, искренний и органически лукавый, проницательный и легко поддающийся обману. Характер Горького объясняет его книги, а произведения помогают понять особенности биографии. Тот синтетический портрет, который рисует перед своим читателем Ходасевич, делает его героя гораздо более близким, нежели любые заклинания испуганных хвалителей.

Думаю, что и та концепция Горького, которую выработал в воспоминаниях Ходасевич, объясняет его последующую трагедию: склонность к постоянному самообману позволяла закрывать глаза на все растущее отчуждение власти от народа, обезчеловечивание государства, обретение все большей и большей власти «органами», раскручивающийся кровавый маховик репрессий. На словах развенчивая своего Луку, Горький в собственной жизни пошел куда дальше утешителя-странника, убаюкивая высокими словами своих современников, слишком часто веривших ему беспрекословно и безоглядно.

Но как же могли уживаться два таких несхожих писателя, как Ходасевич и Горький, если сами принципы подхода к миру были у них во многом противоположны? В свое время мне уже пришлось высказать предположение, что поэтический опыт Ходасевича Горький использовал в ряде рассказов, которые он писал в начале двадцатых годов. Думаю, что эти рассказы относятся к самому лучшему, что удалось Горькому написать за всю свою жизнь, так как острота и прямота психологического анализа в них сделана основным художественным принципом, а не превращена в подсобное средство, как это часто случалось в других его вещах.

Страшный опыт петербургской жизни первых послереволюционных лет, смерть Блока и убийство Гумилева, бессилие в борьбе с рано народившимися партийными чиновниками на какое-то время лишили Горького иллюзий, заставили пристальнее присмотреться к русскому человеку вообще, увидеть в национальном характере рядом с добротой — потрясающую жестокость, за искренней верой — возможность полного свержения всех идеалов. Вот этому трезвеющему Горькому Хо-

Ходасевич был необходим своими безыллюзорными стихами начала двадцатых годов. Точно определил впечатление от одного из этих стихотворений сам Горький: «Ваши стихи «Марихен» пронзительно хороши. Сказать о них что-нибудь больше — не умею, скажу только, что они вызывают в душе «холодный свист зимней вьюги» и, в то же время, неотразимо человечны». Вот здесь, на этот краткий срок, Ходасевич и Горький нашли общий художественный язык. Уже к 1925 году он был потерян: для Горького оказались неприемлемы укоряющие слова Ходасевича, обращенные им в адрес современной России, а Ходасевичу уже нечего было делать с будущим автором «По Союзу Советов».

Но воспоминания, предлагаемые читателю сегодня, остались памятником той дружбы, которая позволила увидеть большого писателя в роковые для него, переломные годы. Даже всегдашняя язвительность Ходасевича отступает перед человеческим обаянием Горького, даже его чрезвычайно высокие мерки позволяют говорить о литературе, творимой Горьким, как о литературе высокой пробы. И воссоздавая облик прославленного современника, Ходасевич совершает подвиг торжествующей благодарной памяти.

Н. А. БОГОМОЛОВ

<1>

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне», однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой ша-

почке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер в ней собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин, воровавшие делами «Всемирной Литературы». Приезжал Шаяпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П. П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабана пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза Писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Несколько врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медики, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам «Дома Искусства», «Дома Литераторов», «Дома Ученых», «Всемирной Литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева, всеильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, — словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не противившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как

бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии — каюсь — я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 г. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 г. обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в то время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 г. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основания думать, что хорошо

знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места, и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом опiski и исправлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял он в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об

игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил всего больше. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачаясь в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился дня три. Наконец, объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случилось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. — Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!

Он умер от воспалений легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как об этом думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Фи-

зическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

* * *

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927—28 гг. я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, уютной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят — прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается,

как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в это время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился — других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось — сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Каstellамаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната, и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо добавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболев, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неординарно. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи.

Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

— Это мой карандаш!

— Нет, мой!

— Нет, мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух — яд для организма», — говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

— Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

— Да он же мне нужен!

— Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь — через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе. Однажды всюю компанией были в синематографе. В солнечник на детской половине была елка с подарками; я получил пяссянные карты, Алексей Максимович — теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарady, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затыгивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», — потом вставал и сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу — туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный

нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» си-ньору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это — сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

* * *

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табль-д'отом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном изживении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнойших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников — до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображая с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях — Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами — вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной степени прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, очень

важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об исконной нравственно-социальной правде, которая должна над всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть — лучшем из всего, что им написано, и несомненно — центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разяснить читателям, что Лука — личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее

будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека», — провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина по сравнению с образом Луки написан бледно и — главное — нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного — своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик — не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он — умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» — вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немислима без непрестанного преодоления действительности — надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты — приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты — делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навесит
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатая — не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он от-

стаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 г. рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколелебимо ненавижу правду», — писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ошетилившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

* * *

13 июля 1924 г. он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А у нас? думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.»

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уходит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же — в начинающем писателе (опять-таки — в очень даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился ина-

че. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели — вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров — до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, — вплоть до маниаков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, что «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессии. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего недовольства. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде-вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обраться при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней ответ бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

В помощи деньгами и хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, — и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие *он требовал для себя права мечтать* о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fête*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в *порче песни*.

В этом — весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

— Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.

Он ответил насупившись:

— Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

* * *

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Икскуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Феодоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме Искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец, он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его дня через два привезет А. Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздавала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать — я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать — зимой, с мальчишко-проводяжом, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминде-

ле, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и — кто знает? — может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну — зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения с многими членами императорской фамилии. И вот, однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 г. он мне сам рассказал все это — не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

— Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

— Были.

— Почему же она не попросила их показать?

— То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев, он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!)¹. Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется, они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький полу-

¹ По старой орфографии фамилия кн. В. П. Палея писалась через «ять», а фамилия А. Р. Палея — через «е». — Ред.

чил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихов этого Палея ни в коем случае нельзя было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видел, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришлось в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

* * *

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его или даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 г. он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано: «Джиоконда, картина Микель-Анджело», а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие будто бы¹ отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

¹ Слова, «будто бы», — вписаны над строкой. — В. Х.

Сверх строки мною вписано «будто бы» — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, подав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только «театр для себя». И вот, он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя» как о совершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, да в н ы м-д а в н о у н е г о и м е л с я. За два месяца до этого письма 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках,— и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало у него ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

«То — люди, а то — человеки», — говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, — презирав, обзывал «мещанами». Однако ж он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей души серенькие, все подрумянится желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармества».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом — коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной, неожиданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора — крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, — чистые денежки», — говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычайной, — но они были проведены судьбою совсем не так сильно, закончено и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот — я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен на свою любовь. Часто, слишком часто при-

ходило к нему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды навесен и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот — воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, — он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

* * *

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, — огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть, потому, что она была настоящей, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромен — даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она главным образом от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того — от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно — 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например — с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, — и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив — непременно садился за переделку и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна об-

ласть, в которой он себя сознавал беспомощным — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которою этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив — мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г., в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельной радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в советскую Россию они не допускались). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все было еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах Горького, — и вдруг выпалил:

— А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не знаю, что Горький ответил, и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

— Вы не вздумайте Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини.

Перед тем, как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

Париж, 1936 г.

<2>

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 г., либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни — потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие — потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной степени прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я опе-

рирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

* * *

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А. Н. Тихонова и З. И. Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей при «народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 г., ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н... однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партии бумаги для «Всемирной Литературы». Однако на советские деньги там ничего не продадут. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правительства в ту пору ещё имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ни-

ми сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развешивать планы, основанные на предстоящих неудачах Красной армии. Поэтому я ответил N..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств N... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведовал им В. В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой — может быть, даже слегка подвивал ее — и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представлял ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

— Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

— Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть — в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающее себе карманы на заказах советского правительства — в частности, комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, — и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так наз. Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького,

Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было справедливо, потому что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева — не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В. Э. Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш скоморошина!
Ты седлай свою коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет вымести,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!»
Седлал Малахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю — и т. д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же оказалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 г., когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведовать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

— Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников — и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

* * *

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917—1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — отдыхать и лечиться. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку — в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать — об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведе-

ния, что Зиновьев грозит арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно — Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно, и то, что замышлялся еще один удар — можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама — под условным именем *Мафа*. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором идет речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т. п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В. И. Икскуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 г. ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент Октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог взять ее с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького, ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большую часть лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобным невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осто-

рожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встреченным рабочим, кричали:

— Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева — не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решился ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву не сдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком — по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

* * *

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, — о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Times'e, а Сологуб — наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу штуковину», — и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». — «Не осел, а сукин сын», — возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял.)

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальным: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю — меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем, на него надвигалась еще беда, еще одно поражение — может быть, самое тяжкое из всех, понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле, наконец, переположились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворившийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кукова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тот-

час получил дружески-комическую, но providенциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т. д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать, — замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой okazji кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шутку, а затем отправился в тюрьму. Горький был в это время в Москве — а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

— Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случилось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

* * *

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было бы сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для Вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду увидеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: *«До свидания со мной — подождите принимать предложение «Накануне»»*.

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видел и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегаает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству, он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!» В сентябре месяце, ко-

гда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в Кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос — где же написать? — он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднее осенью Горький меня убедил переселиться в городок Saganow, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 г. в России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов <етской > России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные Записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжении Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой mine. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему давали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему пред-

ложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 г. появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю, кому, — при мне говорил о «Бесед» с приезжавшим в Сааров Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался даже ригористически. Некто Лежнев еще ухитрился издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 г. он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Москве свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то, что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября

Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала — просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это, как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства, о чем он порою даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может — до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, — несколько раз напоминала она, — но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, — всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», — прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича

внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — обший выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируя текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине — были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т. е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н. К. Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

* * *

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С. Г. Сумского, находилось в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С. Г. Сумский сообщил мне, что «Международная книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что, «по-видимому, разрешение дано А. М. для утешения, а «Беседу» приказано душиить». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3 номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров; итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры,

которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, — вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что было весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.) Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, учених, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти — маска снималась. Соответствующую личину надевал и Соболев при Горьком: ложь порождала ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходившей в Берлине под редакцией А. Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» — «Но я же *вас* знаю», — ответил Горький. — «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей

в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому я уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь постпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что если бы секретарь прилепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть — государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предначертаниях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самую настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидела, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчишками — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского

фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил как-то конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную *словесную* точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот такая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно,— в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом,— когда был инструктором Всевобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это — приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведовала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем — здарсьте пожалуйста! Вот мы раз выловили этих эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок — у какого-то буржуа ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на вообража-

емый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок — Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!».

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмысленныш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т. д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! — говорит она. — Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, испробовал, хорошо ли тянет, — а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания мне было тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

— Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека — ни звука.)

— Что ж, пускай едет, коли ему хочется, — сказал я.

Горький слегка рассердился:

— А когда их там всех перебьют, что будет? — спросил он. — Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают — за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она — важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» — и собрав ладонью пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал,

держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

— Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

— Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

— Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращения».

* * *

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «Беседа» — кончилась. Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на «Беседу» было дано, и книги в Россию допускались», — писал он. — Затем разрешение было опротестовано и аннулировано». Это была ложь, на

которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем, мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготавливается здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал *типа «Беседы»* в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался за границей, и что «ограничительные условия» теперь налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 г. нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский современник» — последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами журнала в России. Дух журнала был волный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова и К. Чуковского. В конце 1924 г., по выходе четвертой книжки, «Русский современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский современник» — только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русский современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как

я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, — ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский современник» не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной нови» и в других казенных журналах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решился не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 г., когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможна поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т. д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставляя мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 г., основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Сознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, — но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица,

о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какую он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция требовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что он еще пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

< 1938? >

ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович

ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

Составитель Н. А. Богомолов

Редактор С. С. Лесневский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 18.08.89. Подписано к печати 17.10.89. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,33. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1182. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● ЧЕКОВАЯ КНИЖКА

Удобство и практичность —
— ОЧЕВИДНЫ!

Это именной денежный документ, который Вы можете получить в учреждении Сберегательного банка СССР, где открыт Ваш счет по вкладу до востребования. Чековая книжка выписывается на любую сумму в пределах вклада.

Чековая книжка действительна два года со дня выдачи, но если Вы использовали не все 12 отрывных чеков, срок действия может быть продлен еще на два года.

Вы можете оплатить чеком промышленные товары и услуги.

Кроме того, владелец чековой книжки может получить по чеку наличные деньги в любом учреждении Сберегательного банка страны.

Чек действителен при предъявлении паспорта.

ВЛАДЕЛЕЦ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ

пользуется всеми преимуществами вкладчика:

порядок совершения операций по вкладам и доход

— 2 % годовых — СОХРАНЯЕТСЯ!